ВЛАДИСЛАВ ШПИЛЬМАН

ПИАНИСТ

литературная основа легендарного фильма

новый перевод

основано на реальных событиях

Холокост. Палачи и жертвы

Владислав Шпильман

Пианист

«Издательство АСТ»

1998

УДК 78.071.2:929
ББК 85.315.3

Шпильман В.

Пианист / В. Шпильман — «Издательство АСТ», 1998 — (Холокост. Палачи и жертвы)

ISBN 978-5-17-110342-2

Книга выдающегося польского пианиста и композитора Владислава Шпильмана рассказывает о тяжёлых испытаниях, выпавших на его долю в годы Второй мировой войны в Варшавском гетто. Он не просто пытался выжить, но по мере сил участвовал в сопротивлении врагу, пришедшему на родную землю. Однако впоследствии именно помощь немецкого офицера позволила ему спастись. Отрывки из дневников того самого офицера, Вильма Хозенфельда, также включены в издание и служат важным дополнением к тому, о чем пишет Шпильман. Книга послужила основой знаменитому фильму, поставленному Романом Полански.

УДК 78.071.2:929
ББК 85.315.3

ISBN 978-5-17-110342-2

© Шпильман В., 1998
© Издательство АСТ, 1998

Содержание

Предисловие 6
1. Час детей и безумцев 8
2. Война 13
3. Первые немцы 18
4. Отец кланяется немцам 22
5. Вы евреи? 26
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Владислав Шпильман
Пианист. Необыкновенная история выживания в Варшаве в 1939–1945 годах

Wladyslaw Szpilman
The Pianist

Copyright © Wladyslaw Szpilman, 1998
Foreword: Copyright © Andreas Szpilman, 2017
© Оформление, ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Предисловие

До самого последнего времени мой отец никогда не рассказывал о том, что пережил во время войны. И всё же эти воспоминания сопровождали меня с детства. Из этой книги, которую я тайком снял с дальней полки, когда мне было двенадцать лет, я узнал, почему у меня нет бабушки и дедушки по отцу и почему отец никогда не рассказывал о своей семье. Книга открыла мне часть меня самого. Как я знал, отцу было известно, что я прочел её, но мы никогда её не обсуждали. Возможно, именно поэтому мне никогда не приходило в голову, что эта книга может что-то значить и для других людей, – на это мне указал мой друг Вольф Бирман, когда я рассказал ему историю отца.

Я много лет прожил в Германии и по-прежнему осознаю болезненный разрыв между евреями с одной стороны и немцами и поляками с другой. Надеюсь, эта книга поможет затянуться до сих пор открытым ранам.

Мой отец Владислав Шпильман – не писатель. По профессии он, как говорят в Польше, «человек, в котором живёт музыка», – пианист и композитор, значимая и вдохновляющая фигура в польской культурной жизни.

Игре на фортепиано отец обучался в Берлинской академии искусств у Артура Шнабеля, там же он изучал композицию у Франца Шрекера. В 1933 году, когда к власти пришёл Гитлер, он вернулся в Варшаву и стал работать пианистом на Польском радио. К 1939 году он написал музыку для множества фильмов, а также много песен и романсов, которые были очень популярны в своё время. Перед самой войной он выступал с концертами вместе с всемирно известным скрипачом Брониславом Гимпелем, Генриком Шерингом и другими знаменитыми музыкантами.

После 1945 года он вернулся на Польское радио и продолжил выступать с концертами сольно и в камерных ансамблях. Он написал несколько симфонических произведений и около трёх сотен эстрадных песен, многие из которых стали хитами. Он сочинял музыку для детей, время от времени писал музыку к радиопостановкам и фильмам.

Отец возглавил музыкальный департамент на Польском радио, но в 1963 году ушёл с этого поста, чтобы посвящать больше времени концертам и «Варшавскому квинтету», который он основал вместе с Гимпелем. В 1986 году, после более чем двух тысяч концертов по всему миру, сольных и с ансамблем, отец оставил выступления и полностью посвятил себя композиции.

Мне жаль, что его сочинения всё ещё не слишком известны на Западе. Думаю, что одна из причин – как культурное, так и политическое разделение Европы пополам после Второй мировой войны. Во всём мире лёгкая, развлекательная музыка нравится гораздо более широкой аудитории, чем «серьёзная» классика, и Польша здесь не исключение. Её жители выросли на песнях моего отца, ведь он задавал тон польской эстрадной музыке на протяжении нескольких десятилетий – но западная граница Польши стала непреодолимой преградой для такой музыки.

Первую версию этой книги отец написал в 1945 году – думаю, больше для себя, чем для остального человечества. Это позволило ему проанализировать свои потрясения времён войны и освободить разум и чувства, чтобы жить дальше.

Книга так и не была переиздана, хотя в 1960-х годах многие польские издательства пытались донести её до молодого поколения. Но все их усилия наталкивались на противостояние. Объяснений не последовало, но реальная причина была очевидна – у властей были свои соображения.

Спустя более полувека после первого издания книга напечатана снова – возможно, это полезный урок для многих хороших людей в Польше, который может убедить их переиздать её в родной стране.

Анджей Шпильман

1. Час детей и безумцев

Моя карьера пианиста в военные годы началась в кафе «Новочесна»[1] на улице Новолипки, в самом центре Варшавского гетто. К ноябрю 1940 года, когда двери гетто захлопнулись, моя семья давно продала всё, что могла, даже главную драгоценность – пианино. Жизнь, пусть и столь блеклая, заставила меня преодолеть апатию и поискать способ заработать на жизнь – и, слава Богу, я его нашёл. Работа оставляла мне мало времени на раздумья, и осознание, что вся семья зависит от моего заработка, со временем помогло мне выбраться из безнадёжности и отчаяния, в которых я пребывал ранее.

Мой рабочий день начинался под вечер. Чтобы попасть в кафе, мне приходилось пробираться через лабиринт узких улочек, уводящих далеко в глубину гетто, – а для разнообразия, если мне хотелось понаблюдать за увлекательной деятельностью контрабандистов, можно было пройти вдоль стены.

Вторая половина дня была лучшим временем для контрабанды. Полиция, устав за утро набивать собственные карманы, следила не так пристально, занятая подсчётом прибыли. Беспокойные силуэты возникали в окнах и дверных проёмах домов вдоль стены и вновь ныряли в укрытие, нетерпеливо ожидая грохота повозки или звона приближающегося трамвая. Время от времени шум по другую сторону стены нарастал, приближалась повозка, запряжённая лошадью, слышался условный свист и через стену летели мешки и пакеты. Тогда те, кто залёг в засаду, выбегали из дверей, поспешно хватали добычу и вновь отступали внутрь домов, и на несколько минут на улице вновь воцарялась обманчивая тишина, полная ожидания, волнения и тайных перешёптываний. В те дни, когда полиция более энергично выполняла свои ежедневные обязанности, можно было услышать эхо выстрелов, смешанное со стуком колёс, а через стену вместо мешков летели ручные гранаты, которые гулко взрывались, сбивая лепнину со зданий.

Стены гетто не по всей длине подходили вплотную к дороге. Через определённые промежутки попадались длинные щели на уровне земли – по ним сточные воды с арийской части дороги направлялись в канализацию под еврейскими мостовыми. Дети использовали эти щели для контрабанды. Маленькие чёрные фигурки спешили к ним отовсюду на тонких, как спички, ногах, а испуганные глаза незаметно поглядывали по сторонам. Затем маленькие чёрные лапки протаскивали груз через щели – зачастую он был больше самих контрабандистов.

Как только добыча оказывалась внутри, дети вскидывали её на плечи, горбясь и шатаясь под тяжестью груза. От усилия на висках у них вздувались голубые жилы, они судорожно хватали воздух раскрытым ртом, семеня прочь во все стороны, как напуганные крысята.

Их работа была такой же рискованной и несла такую же опасность для жизни и здоровья, как и у взрослых контрабандистов. Однажды я шёл вдоль стены и увидел процесс детской контрабанды, который как будто бы завершился успешно. Еврейскому мальчику с той стороны стены оставалось лишь пролезть обратно через щель вслед за своей добычей. Его тщедушная фигурка уже частично проникла внутрь, но внезапно он закричал, и в тот же миг я услышал хриплый рёв какого-то немца с другой стороны стены. Я бросился к мальчику, чтобы помочь ему поскорее пробраться внутрь, но вопреки нашим усилиям он застрял в стоке на уровне бёдер. Я тянул его ручонки изо всех сил, а его крики становились всё отчаяннее, и ещё я слышал сильные удары, которые наносил полицейский снаружи. Когда я наконец протащил мальчика внутрь, он уже не дышал. У него был раздроблен позвоночник.

На самом деле гетто не нуждалось в контрабанде для пропитания. Большинство мешков и пакетов, попадавших сюда через стену, содержало пожертвования поляков беднейшей части

[1] «Современная». – *Прим. пер.*

евреев. Реальной, налаженной контрабандой управляли такие магнаты, как Кон или Хеллер; она была куда более простой и вполне безопасной. Подкупленные полицейские просто закрывали глаза в условленное время, и тогда, под самым их носом и с их молчаливого согласия, в гетто въезжали целые обозы с продовольствием, дорогим алкоголем, роскошнейшими деликатесами, табаком прямо из Греции, французской галантереей и косметикой.

Я наблюдал контрабандные товары во всей красе каждый день в «Новочесной». Туда приходили богачи, увешанные золотыми украшениями и усыпанные бриллиантами. Под хлопанье пробок шампанского ярко накрашенные девицы предлагали свои услуги спекулянтам, рассевшимся за богато накрытыми столами. Там я утратил две иллюзии: веру в нашу общую солидарность и в музыкальность евреев.

К «Новочесной» не пускали попрошаек. Толстые портье прогоняли их дубинками. Рикши часто проделывали долгий путь, и расположившиеся там мужчины и женщины зимой были одеты в дорогое сукно, а летом – в роскошные соломенные шляпы и французские шелка. Прежде чем добраться до территории, защищаемой дубинками портье, они сами отбивались от толпы тростями, и их лица были искажены гневом. Милостыни они не давали – в их глазах благотворительность лишь развращала людей. По их мнению, если бы вы работали так же усердно, как они, вы бы и зарабатывали столько же – любой так может, а если вы не знаете, как устроиться в жизни, так это лишь ваша вина.

Когда они наконец рассаживались за маленькими столиками просторного кафе, куда заходили только по делам, они принимались жаловаться на тяжёлые времена и отсутствие солидарности со стороны американских евреев. Что они там думают? Здесь умирают люди, им нечего есть. Здесь происходят ужаснейшие вещи, а американская пресса молчит, и еврейские банкиры по ту сторону океана пальцем не шевельнут, чтобы заставить Америку объявить войну Германии, хотя легко могли бы дать такой совет, если бы захотели.

Никто в «Новочесной» не обращал внимания на мою музыку. Чем громче я играл, тем громче разговаривали ужинающие и выпивающие, и каждый день мы с аудиторией соревновались, кто кого потопит. Как-то раз один посетитель даже прислал официанта, чтобы попросить меня ненадолго прервать игру, – из-за музыки он не мог проверить золотые двадцатидолларовые монеты, которые только что купил у другого посетителя. Потом он принялся осторожно постукивать монетами по мраморной поверхности столика, брать их кончиками пальцев, подносить к уху и внимательно вслушиваться в их звон – единственная музыка, к которой он испытывал интерес. Я недолго играл там. К счастью, я получил новое место в совершенно иного рода кафе на улице Сенной, где собиралась еврейская интеллигенция, чтобы послушать мою игру. Именно там я приобрёл репутацию артиста и обзавёлся друзьями, с которыми мне предстояло разделить и приятные, и ужасные времена. Среди постоянных посетителей кафе был талантливый художник Роман Крамштык, друг Артура Рубинштейна и Кароля Шимановского. В то время он работал над великолепным циклом рисунков, изображавших жизнь за стенами гетто, не зная, что сам он будет убит, а большинство работ утрачено.

Ещё одним посетителем кафе на Сенной улице был один из прекраснейших людей, каких мне доводилось встречать, – Януш Корчак. Он был образованным писателем и знал почти всех ведущих артистов движения «Молодая Польша». Он рассказывал о них так, что невозможно было оторваться, его манера изложения была одновременно прямолинейной и захватывающей. Его не рассматривали как писателя первого разряда – вероятно, потому, что его литературные достижения носили очень специфический характер: это были истории для детей и о детях, которые отличались великолепным пониманием души ребенка. Их диктовали не творческие амбиции, а позывы сердца прирождённого активиста и педагога. Истинная заслуга Корчака была не в том, что именно он писал, а в том, что он жил точно так же, как писал. Много лет назад, на заре своей карьеры, он посвящал детям каждую минуту свободного времени и каждый лишний злотый, и он остался верен им до самой смерти. Он основывал сиротские приюты,

организовывал всевозможные сборы для бедных детей и выступал на радио, чем заслужил себе огромную популярность (и не только среди детей) под именем «Старого доктора». Когда ворота гетто закрылись, он вошёл внутрь, хотя мог бы спасти свою жизнь, и продолжал выполнять в его стенах свой долг – долг приёмного отца для дюжины еврейских сирот, самых бедных и покинутых детей в мире. Беседуя с ним на Сенной улице, мы не знали, какой высокой и прекрасной жертвой завершится его жизнь.

Через четыре месяца я снова перебрался в другое кафе – «Штука» («Искусство») на улице Лешно. Это было крупнейшее кафе в гетто, стремившееся создать у себя творческую атмосферу. В его концертном зале проходили музыкальные вечера. Среди певцов была Мария Эйзенштадт, чей чудесный голос сейчас был бы известен миллионам, если бы впоследствии её не убили немцы. Сам я играл на фортепиано дуэтом с Анджеем Гольдфедером, и большим успехом пользовалось моё исполнение парафраза вальса из «Казановы» Людомира Ружицкого на слова Владислава Шленгеля. Этот самый поэт Шленгель появлялся в кафе ежедневно вместе с Леонидом Фокчанским, певцом Анджеем Властом, известным сатириком Вацусем-Искусствоведом и Полей Брауновной, – все они участвовали в шоу «Живая газета», остроумной хронике жизни в гетто, полной едких и рискованных намёков на немцев. Рядом с концертным залом был бар, где те, кто предпочитали еду и выпивку искусству, могли получить изысканные вина и отменно приготовленные котлеты де-воляй или бефстроганов. И концертный зал, и бар почти всегда были полны, так что в то время я неплохо зарабатывал и как раз мог обеспечить нашу семью из шести человек, хотя и не без труда.

В «Штуке» я завёл множество друзей, с которыми мог поговорить между выступлениями, и был бы по-настоящему счастлив, если бы не мысли о возвращении домой по вечерам. Они омрачали весь мой вечер.

Стояла зима 1941–42 года, очень суровая зима для гетто. Море нищеты плескалось вокруг маленьких островков относительного процветания еврейской интеллигенции и роскошной жизни спекулянтов. Бедняки уже были серьёзно ослаблены голодом и не могли защититься от мороза, так как не все были в состоянии приобрести топливо. А ещё их одолевали паразиты. Гетто кишело паразитами, с которыми ничего не могли поделать. Одежда прохожих, которых можно было встретить на улице, была полна вшей, как и салоны трамваев, и магазины. Вши ползали по мостовым, поднимались по лестницам и падали с потолков учреждений, которые приходилось посещать по множеству причин. Вши пробирались между страницами газеты, в мелочь в кошельке; вши ползали даже по корке свежекупленного рулета. И каждый из этих кровососов мог быть разносчиком тифа.

В гетто разразилась эпидемия. Ежемесячно смертность от тифа составляла пять тысяч человек. Тиф стал основной темой разговоров и у богатых, и у бедных, – бедняки лишь задавались вопросом, когда придёт их черед умирать, а богачи интересовались, как раздобыть вакцину доктора Вайгля и защитить себя. Доктор Вайгль, гениальный бактериолог, стал самой популярной фигурой после Гитлера: так сказать, добро бок о бок со злом. Говорили, что немцы арестовали его в Лемберге, но, слава Богу, не убили, а даже почти признали почётным гражданином Германии. Говорили, что они предложили ему отличную лабораторию и прекрасную виллу с не менее прекрасным автомобилем, – но предварительно его следовало поместить под надзор гестапо, чтобы он точно не сбежал вместо того чтобы изготовить как можно больше вакцины для завшивевшей немецкой армии на востоке. Разумеется, как гласили рассказы, от виллы и автомобиля доктор Вайгль отказался.

Не знаю, что из этих рассказов о нём – правда. Я знаю только, что он, слава Богу, выжил и что после того, как он рассказал немцам секрет своей вакцины и перестал быть для них полезен, его каким-то чудом не отправили в газовую камеру. Как бы то ни было, благодаря его изобретению и немецкому корыстолюбию многие варшавские евреи не умерли от тифа – хотя бы для того, чтобы впоследствии умереть как-то иначе.

Сам я не прививался. Я мог бы себе позволить только одну дозу сыворотки – для себя, но не для остальных родных, и такого я не хотел.

В гетто не было возможности хоронить умерших от тифа достаточно быстро, чтобы успевать за уровнем смертности. Однако трупы нельзя было и просто оставить в доме. В результате появилось временное решение: мёртвых раздевали – их одежда была слишком ценна для живых, чтобы оставить её на трупе, – и выкладывали на мостовой, завернув в бумагу. Зачастую они лежали там несколько дней, пока не приезжал транспорт Совета и не увозил их в братские могилы на кладбище. Из-за этих мёртвых тел, среди которых были умершие не только от тифа, но и от голода, мой вечерний путь из кафе домой и был так ужасен.

Я уходил одним из последних, вместе с управляющим кафе, когда выручка за день была подсчитана, а я получал своё жалование. Улицы были тёмными и почти безлюдными. Я зажигал фонарь и высматривал мертвецов, чтобы не споткнуться и не упасть на них. Ледяной январский ветер дул мне в лицо или гнал меня вперёд, шуршал бумагой, в которую были завёрнуты трупы, поднимал её, обнажая тощие голени, провалившиеся животы, лица с оскаленными зубами и глазами, глядящими в никуда.

Тогда я ещё не настолько привык к мертвецам, как впоследствии. Я спешил по улицам в страхе и омерзении, чтобы попасть домой как можно скорее. Мать ждала меня с миской спирта и пинцетом. Она, как могла, заботилась о здоровье семьи во время этой опасной эпидемии, так что впускала нас в квартиру дальше прихожей только обобрав вшей со всем старанием с наших шляп, пальто и костюмов с помощью пинцета и утопив их в спирте.

Весной, когда я теснее сдружился с Романом Крамштыком, я часто шёл из кафе не домой, а к нему, в квартиру на улице Электоральной, где мы сидели и болтали до поздней ночи. Крамштык был счастливчиком: он один занимал крошечную комнату со скошенным потолком на последнем этаже. Здесь он хранил все свои сокровища, не разграбленные немцами: широкий топчан, покрытый турецким ковром, два дорогих старинных стула, милый ренессансный комодик, персидский ковёр, небольшую коллекцию старинного оружия, немного картин и всевозможные мелочи, которые он собрал за многие годы в разных частях Европы, – каждая вещь была сама по себе маленьким шедевром и радовала глаз. Хорошо было сидеть в этой маленькой комнате при мягком жёлтом свете лампы, накрытой абажуром работы самого Романа, пить чёрный кофе и весело болтать. Пока не стемнело, мы выходили на балкон подышать воздухом – наверху он был чище, чем на пыльных, душных улицах. Приближался комендантский час. Люди уже разошлись по домам и заперли двери; весеннее солнце, клонясь к горизонту, отбрасывало розовый отсвет на цинковые крыши, стаи белых голубей летели в голубом небе, и аромат сирени доносился через стены из соседнего Саксонского сада, проникая даже сюда, в наш квартал проклятых.

Это был час детей и безумцев. Мы с Романом уже высматривали на Электоральной улице «даму с перьями», как мы звали нашу сумасшедшую. Выглядела она необычно. Её щёки были ярко нарумянены, а брови толщиной в сантиметр нарисованы карандашом от виска к виску. Она заворачивалась в старую потрёпанную зелёную занавеску поверх ветхого старого платья, а из её соломенной шляпы торчало вверх огромное лиловое страусиное перо, мягко покачиваясь в такт её быстрым нетвёрдым шагам. По пути она постоянно останавливала прохожих и с вежливой улыбкой спрашивала о своём муже, которого немцы убили у неё на глазах.

– Извините… вы случайно не видели Исаака Шермана? Такого высокого красивого мужчину с седой бородкой?

Она пристально вглядывалась в лицо прохожего, затем, получив отрицательный ответ, разочарованно вскрикивала: «Нет?». На мгновение её лицо искажалось гримасой боли, которую тут же сменяла любезная, хотя и натянутая улыбка.

– О, простите, простите меня! – говорила она и шла дальше, покачивая головой, – отчасти сожалея, что отняла чужое время, отчасти изумляясь, что кто-то не знал её мужа Исаака, такого красивого и приятного человека.

Примерно в то же время по Электоральной улице прогуливался и человек по прозванию Рубинштейн, оборванный и растрёпанный, в болтающейся одежде. Он размахивал тростью, подпрыгивал и приплясывал, что-то мычал и бормотал себе под нос. В гетто он был знаменитостью. Уже издалека было понятно, что он идёт, по вечному возгласу: «Давай, парень, не вешай нос!». Он задался целью поддерживать в людях бодрость духа, веселя их. Его шутки и смешные замечания слышались по всему гетто и несли с собой радость. Его коронным номером было подойти к немецким жандармам и начать скакать вокруг них, строить рожи, обзываться: «Ах вы негодяи, бандиты, шайка воров!» – и ещё более непристойными словами. Немцы находили это забавным и часто бросали Рубинштейну сигареты и мелочь за оскорбления – в конце концов, нельзя же принимать всерьёз этого сумасшедшего.

Я был в этом не так уверен, как немцы, и до сих пор не знаю, действительно ли Рубинштейн был одним из множества тех, кто утратил рассудок от перенесённых мучений, или просто разыгрывал из себя шута, чтобы спастись от смерти. Нельзя сказать, чтобы ему это удалось.

Сумасшедшие не обращали внимания на комендантский час – он ничего для них не значил, как и для детей. Эти маленькие призраки появлялись из подвалов, переулков и подворотен, где ночевали, подгоняемые надеждой, что в последний час дня им ещё удастся вызвать жалость в людских сердцах. Они стояли у фонарных столбов, у стен и на дороге, запрокинув головы, и монотонно скулили о том, что голодны. Самые музыкальные дети пели. Тонкими, слабыми голосочками они тянули балладу о молодом солдате, раненном в бою, – всеми покинутый, он умирает с криком «Мама!». Но его матери здесь нет, она далеко отсюда, она не знает, что её сын лежит при смерти, и лишь земля баюкает несчастного, навевая вечный сон шорохом листьев и трав: «Спи спокойно, сынок, спи спокойно, мой милый!». И упавший на грудь убитому цветок с дерева – его единственный почётный крест.

Другие дети пытались воззвать к совести людей, обращаясь к ним с мольбами: «Мы очень, очень проголодались. Мы так долго ничего не ели. Дайте нам корочку хлеба, а если у вас нет хлеба, так хоть картошку или луковицу, просто чтобы мы могли дожить до утра».

Но мало у кого была эта луковица, а у кого и была, тот не находил в себе милосердия, чтобы отдать её, ибо война обратила его сердце в камень.

2. Война

К 31 августа 1939 года в Варшаве уже никто не сомневался, что война с немцами неизбежна. Разве что неисправимые оптимисты ещё тешили себя иллюзией, что решимость Польши остановит Гитлера в последний момент. У других оптимизм проявлялся, отчасти неосознанно, в виде оппортунизма: внутреннего убеждения, вопреки всякой логике, что, хотя война начнётся неизбежно, – это давно решено – её реальное начало немного задержится и они смогут ещё немного пожить полной жизнью. В конце концов, жизнь – хорошая штука.

По ночам в городе тщательно «устраивали темноту». Люди плотно закрывали комнаты, которые планировали использовать как газовые убежища, и примеряли противогазы. Газа боялись больше всего на свете.

Тем временем за зашторенными окнами кафе и баров продолжали играть оркестры, а посетители пили, танцевали и распаляли в себе патриотизм, распевая воинственные песни. Необходимость затемнения, возможность прогуляться с висящим на плече противогазом, возвращение ночью на такси по внезапно изменившимся улицам, – всё это придавало жизни определённую остроту, тем более что реальной опасности еще не было.

Гетто ещё не было, я жил с родителями, сестрами и братом на улице Слиской и работал пианистом на Польском радио. В тот последний день августа я пришёл домой поздно и сразу лёг спать, так как очень устал. Наша квартира была на третьем этаже, и у такого расположения были свои преимущества: летними ночами пыль и уличная вонь оседали вниз, а в наши открытые окна вливался свежий воздух, принося влагу с Вислы.

Меня разбудил гул взрывов. Уже рассвело. Я посмотрел на часы: шесть утра. Взрывы были не особенно громкими и раздавались как будто где-то далеко – во всяком случае, за пределами города. Видимо, шли военные учения – мы привыкли к ним в последние дни. Через несколько минут взрывы прекратились. Я задумался, не поспать ли ещё, но уже было слишком светло и солнечно. Я решил почитать до завтрака.

Было, наверное, не меньше восьми, когда дверь в мою спальню открылась. За ней стояла мать, одетая так, как будто в любой момент была готова отправляться в город. Она была бледнее обычного и не могла скрыть некоторого неодобрения, видя, что я всё ещё в постели и читаю. Она открыла рот, но на первом же слове её голос прервался, и ей пришлось прочистить горло. Наконец она произнесла, нервно и торопливо: «Вставай! Война… началась война».

Я решил сразу же идти на радиостанцию – там я встречу друзей и узнаю последние новости. Я оделся, позавтракал и вышел из дома.

На стенах и рекламных тумбах уже виднелись большие белые плакаты с посланием президента к нации, где говорилось, что немцы напали на нас. Кое-где стояли небольшие группы людей, читавших плакаты, другие спешили кто куда по самым срочным делам. Хозяйка магазинчика рядом с нашим домом клеила на окна полоски белой бумаги в надежде, что это защитит их при будущей бомбёжке. Тем временем её дочь украшала флажками Польши и портретами высокопоставленных чиновников лотки с яичным салатом, ветчиной и кольцами колбасы. Мальчишки-газетчики, задыхаясь, неслись по улицам, разнося специальные выпуски.

Паники не было. Общее настроение колебалось от любопытства – что-то будет дальше? – до удивления: что, вот так вот оно и началось?

Какой-то седой, гладко выбритый господин неподвижно застыл перед одной из тумб с президентским посланием. Его смятение выдавали багровые пятна на лице и шее, шляпу он сдвинул на затылок, чего явно никогда бы не сделал в обычных обстоятельствах. Он изучал сообщение, недоверчиво качал головой и снова читал, ещё сильнее сдвинув пенсне на кончик носа. Несколько слов он в негодовании прочёл вслух: «Они напали на нас… без предупреждения!».

Он огляделся, чтобы посмотреть на реакцию соседей, поднял руку, поправил пенсне и заметил: «Определённо, так поступать нельзя!». И даже уходя, после того как еще раз прочёл всё послание, так и не в силах справиться с волнением, он покачивал головой и бормотал: «Нет, нет, так не пойдёт!».

Я жил неподалёку от студии радиовещания, но добраться туда оказалось нелегко – дорога заняла вдвое больше обычного времени. Я прошел около половины пути, когда из громкоговорителей на фонарях, в окнах и над дверями магазинов взвыли сирены. Затем послышался голос диктора: «Воздушная тревога в городе Варшава… Внимание! Приготовиться…». Диктор прочитал список цифр и букв алфавита – какой-то военный шифр, прозвучавший таинственной каббалистической угрозой для обычных ушей. Может быть, цифры означали число вылетевших самолетов? А буквенные коды – места, куда упадут бомбы? Может быть, то место, где мы стояли, – как раз одно из них?

Улица мгновенно обезлюдела. Женщины в страхе бросились в убежища. Мужчины спускаться не хотели; они так и стояли в дверях, бранили немцев, бахвалились своей храбростью и изливали гнев на правительство, сорвавшее мобилизацию, так что призваны были лишь немногие мужчины, годные к военной службе. Остальные обивали пороги военных структур, не в силах попасть в армию ни по любви, ни по расчёту.

На пустой, безжизненной улице слышались лишь перебранки дружинников с теми, кто упорно стремился выйти из подъездов по какому-нибудь делу и пытался продолжать путь, держась вдоль стен. Через мгновение послышались ещё взрывы, но тоже не слишком близко.

Я добрался до студии радиовещания как раз когда смолкла третья сирена. Всё равно там никто не успел бы добраться до убежища по её сигналу.

В сетке вещания царил хаос. Стоило нам кое-как склепать подобие временной программы передач, поступали важные сообщения – военные или дипломатические. Приходилось прерывать всё и срочно передавать эти новости с вкраплением военных маршей и патриотических гимнов.

Такой же разброд царил и в коридорах студии, но в то же время там преобладал дух воинственной самоуверенности. Один из ведущих, которого призвали на фронт, пришёл попрощаться с коллегами и похвастаться военной формой. Он, вероятно, ожидал, что все столпятся вокруг него, будут трогательно прощаться и говорить вдохновляющие слова, но его постигло разочарование: ни у кого не было времени уделять ему столько внимания. Так он и стоял, хватая за пуговицу всех пробегающих мимо коллег и пытаясь хоть частично вывести в эфир свою программу «Прощание с гражданской жизнью», чтобы было о чём однажды рассказать внукам. Он не мог знать, что две недели спустя у них точно так же не найдётся для него времени, – даже для того, чтобы почтить его память достойными похоронами.

За дверью студии меня поймал за рукав старый пианист, работавший на нашей радиостанции, милый старый профессор Урштейн. Другие измеряют свою жизнь в днях или часах, а он – в десятилетиях работы аккомпаниатором. Когда профессор пытался вспомнить какое-нибудь событие из прошлого, он говорил: «Так, посмотрим. Тогда я аккомпанировал такому-то…», – и, стоило ему установить день того или иного аккомпанемента, словно дорожный столб на обочине, как он давал своей памяти возможность выстраивать другие, однозначно более мелкие ассоциации. А теперь он стоял, оглушённый и растерянный, у дверей студии. Как воевать без фортепианного аккомпанемента? Как так может быть?

– Даже никто не скажет, работаю ли я сегодня, – в растерянности жаловался он.

Во второй половине дня работали мы оба, каждый за своим пианино. Музыкальные передачи всё ещё продолжались, пусть и не по расписанию.

В середине дня некоторые из нас проголодались и вышли из студии перекусить в ближайшем ресторане. Улицы выглядели почти обыкновенно, будучи забиты трамваями, автомобилями и пешеходами. Магазины работали, и перед ними даже не было очередей, поскольку

мэр обратился к населению с просьбой не запасаться провизией, уверяя, что в этом нет необходимости. Уличные торговцы успешно продавали бумажную игрушку в виде свиньи, которая, если сложить бумагу и развернуть особым образом, превращалась в лицо Гитлера.

Мы нашли свободный столик в ресторане, хотя и не без труда, и оказалось, что сегодня некоторые блюда из обычного меню недоступны, а другие изрядно выросли в цене. Спекулянты не теряли времени даром.

Разговор за обедом вращался в основном вокруг будущего объявления войны со стороны Франции и Британии, которого ожидали в самое ближайшее время. Большинство из нас, не считая пары безнадёжных пессимистов, были убеждены, что теперь они вступят в войну с минуты на минуту, а многие также считали, что войну Германии объявят и США. Аргументы мы брали из опыта Первой мировой, и всем казалось, что единственная цель конфликта – показать нам, как надо было лучше вести её, и на этот раз сделать всё правильно.

То самое объявление войны со стороны Франции и Великобритании стало реальностью 3 сентября.

Было уже одиннадцать часов, но я ещё не выходил из дома. Мы не выключали радио весь день, чтобы не упустить ни слова из важнейших новостей. Сводки с фронтов поступали иные, чем мы ожидали. Наша кавалерия атаковала Восточную Пруссию, авиация бомбила военные объекты Германии – но в то же самое время превосходящие военные силы противника снова заставляли польскую армию откуда-то отступить. Как такое возможно, когда наша пропаганда утверждала, что немецкие самолёты и танки сделаны из картона и заправлены синтетическим горючим, которое не годится даже для зажигалок? Над Варшавой уже сбили несколько немецких самолётов, и очевидцы утверждали, что на трупах вражеских лётчиков видели бумажную одежду и обувь. Как могли столь скверно экипированные войска заставлять нас отступать? Чепуха какая-то.

Мать хлопотала в гостиной, отец упражнялся в игре на скрипке, а я сидел в кресле и читал. В этот момент какая-то несущественная программа прервалась, и голос диктора сказал, что сейчас будет сделано крайне важное объявление. Мы с отцом бросились к приёмнику, а мать пошла в соседнюю комнату звать моих двух сестёр и брата. Тем временем радио передавало военные марши. Диктор повторил своё сообщение, опять заиграли марши, за ними – снова объявление о будущей войне. Нервы у всех нас уже были напряжены до предела – и тут наконец раздались звуки национального гимна, а за ним последовал гимн Великобритании. Так мы узнали, что противостоим врагу уже не в одиночку, – у нас есть могущественный союзник, и война обязательно будет выиграна, хотя будут и взлёты, и падения, и сейчас наше положение, возможно, не из лучших.

Трудно описать, до какой степени мы были взволнованы, слушая это объявление. У матери в глазах стояли слёзы. Отец рыдал без всякого стеснения, а мой брат Генрик не упустил возможности ткнуть меня кулаком и довольно грубо заявить: «Вот тебе! Я же говорил!».

Регине не понравилось, что мы ссоримся в такой момент, и она вмешалась.

– Ну перестаньте же! – спокойно произнесла она. – Мы все знали, что не может быть иначе.

Она помолчала и добавила:

– Это логически следует из договоров.

Регина была юристом и прекрасно разбиралась в таких вопросах, так что спорить с ней не было смысла.

Тем временем Галина сидела у приёмника, пытаясь поймать Лондон, – ей хотелось подтверждения из первых рук.

Мои сёстры были самыми хладнокровными в нашей семье. В хладнокровии им, пожалуй, не уступала только мать, но и она выглядела неуравновешенной по сравнению с Региной и Галиной.

Через четыре часа войну Германии объявила Франция. Днём отец вознамерился присоединиться к демонстрации перед зданием британского посольства. Мать это не обрадовало, но он твёрдо решил идти. Вернулся он, пылая воодушевлением, весь растрёпанный от давки в толпе. Он увидел нашего министра иностранных дел, британского и французского послов, кричал и пел вместе со всеми, но внезапно собравшихся попросили немедленно разойтись, поскольку возможен был воздушный налёт. Толпа энергично повиновалась, и отца чуть не задавили. Но, как бы то ни было, он находился в наилучшем расположении духа.

К несчастью, наша радость продлилась недолго. Сводки с фронта становились всё тревожнее. Рано утром 7 сентября, перед самым рассветом, в дверь нашей квартиры громко постучали. На пороге стоял наш сосед напротив, доктор, в высоких армейских сапогах, охотничьей куртке и спортивной шапке, с рюкзаком за плечами. Он очень спешил, но счёл себя обязанным сообщить нам, что немцы наступают на Варшаву, правительство перенесено в Люблин, а всё трудоспособное население должно покинуть город и отправиться на дальний берег Вислы, где будет выстроена новая линия обороны.

Вначале мы не поверили. Я решил попытаться расспросить других соседей. Генрик включил радио, но оно молчало: вещание прекратилось.

Я не застал многих соседей. Их квартиры были заперты, в оставшихся женщины собирали вещи мужей или братьев, рыдая и готовясь к худшему. Теперь было ясно, что доктор говорил правду.

Я недолго размышлял и решил остаться. Нет смысла шататься за городом; если уж мне суждено умереть, дома я умру быстрее. И, в конце концов, думал я, кто-то же должен заботиться о матери и сёстрах, если отец с Генриком уйдут. Но когда мы обсудили этот вопрос, я обнаружил, что они тоже решили остаться.

Мать, движимая чувством долга, всё же попыталась уговорить нас покинуть город. Она поочерёдно оглядывала нас расширенными от страха глазами и выдвигала всё новые аргументы в пользу ухода из Варшавы. И все же, когда мы настояли на своём, в её выразительных глазах невольно мелькнуло облегчение: что бы ни случилось, лучше уж быть вместе.

Я подождал до восьми, вышел – и не узнал город. Как он мог полностью изменить свой облик всего за несколько часов?

Все магазины были закрыты. На улицах не было трамваев, лишь автомобили, набитые битком и быстро движущиеся в одном направлении – к мостам через Вислу. По Маршалковской улице шёл отряд солдат. Они держались вызывающе и пели песни, но было видно, что дисциплина непривычно ослабла: фуражки у всех были надеты по-разному, карабины они несли как попало и шли не в ногу. Что-то в их лицах говорило, что сражаться они идут по собственной инициативе, если можно так сказать, и уже давно перестали быть частью точного, безупречно отлаженного механизма армии.

Две молодые женщины бросали им с тротуара розовые астры, снова и снова истерически выкликая какие-то слова. Никто не обращал на них внимания. Люди спешили вперёд, и было очевидно, что все хотели лишь пересечь Вислу и заботились лишь о том, чтобы успеть завершить последние важные дела, прежде чем немцы пойдут в атаку.

Все эти люди тоже были не такими, как вчера. Варшава была таким изысканным городом! Что стало с дамами и господами, разодетыми так, словно они только что вышли из магазина мод? Сегодня спешащие во все стороны люди выглядели так, словно нарядились для маскарада в охотников или туристов. На них были сапоги, лыжные ботинки, лыжные штаны, рейтузы, платки на головах, они несли с собой котомки, рюкзаки и трости. Никто не заботился о том, чтобы придать себе цивилизованный вид, – одевались небрежно и явно второпях.

Улицы, ещё вчера такие чистые, были завалены мусором и покрыты грязью. В переулках, на тротуарах, на обочинах, на проезжей части сидели и лежали солдаты – они пришли прямо с фронта, и их лица, сутулые спины и все движения выдавали предельное изнеможение и рас-

терянность. Они даже преувеличивали своё смятение, чтобы прохожие поняли: они здесь, а не на фронте, потому что на фронте делать уже нечего. Оно того не стоит. Небольшие группы людей пересказывали друг другу новости с фронта, подслушанные у солдат. Дела шли плохо.

Я инстинктивно огляделся в поисках громкоговорителей. Может быть, их убрали? Нет, они всё ещё были на месте, но умолкли.

Я поспешил на студию. Почему нет объявлений? Почему никто не пытается подбодрить население и остановить этот массовый исход? Но двери центра радиовещания были заперты. Руководство станции покинуло город, остались одни кассиры, вместо всех предупреждений спешно выплачивавшие сотрудникам и музыкантам жалование за три месяца.

Я поймал за руку одного из старших администраторов:

– И что нам теперь делать?

Он посмотрел на меня невидящим взглядом, и на его лице появилась презрительная усмешка, сменившаяся гримасой злобы. Он вырвал свою руку из моей.

– Не всё ли равно? – выкрикнул он, безразлично пожал плечами и шагнул за порог, яростно хлопнув дверью.

Это было невыносимо.

Никто не мог отговорить всех этих людей бежать. Громкоговорители на фонарях смолкли, никто не убирал грязь с улиц. Грязь – а может быть, панику? Или стыд за бегство по этим улицам вместо сражения?

Город внезапно утратил достоинство и уже не мог восстановиться. Это и было поражение.

В крайнем унынии я вернулся домой.

На следующий вечер первый немецкий снаряд упал на дровяной склад напротив нашего дома. Окна магазинчика на углу, так заботливо заклеенные бумажными полосками, вылетели первыми.

3. Первые немцы

К счастью, за следующие несколько дней положение значительно улучшилось. Город был объявлен укреплённым объектом и получил коменданта, который призвал жителей оставаться на своих местах и быть готовыми защищать Варшаву. На другой стороне реки готовилась контратака польской армии, а мы должны были сдерживать основные силы врага в Варшаве, пока наши не подойдут на помощь. Ситуация вокруг Варшавы тоже улучшалась; немецкая артиллерия прекратила обстреливать город.

С другой стороны, вражеские воздушные налеты всё усиливались. Теперь сирены тревоги не звучали – слишком долго они вредили городу и его приготовлениям к обороне. Серебристые силуэты бомбардировщиков едва ли не каждый час возникали высоко над нами в невероятно синем осеннем небе, и мы видели облачка белого дыма от зенитных снарядов нашей артиллерии. Тогда надо было спешить в убежища. Теперь стало не до шуток: бомбили весь город. Полы и стены бомбоубежищ содрогались, и если бы бомба упала на здание, под которым прятались люди, это означало бы их верную смерть. Пуля в смертельной игре в русскую рулетку. По городу постоянно носились кареты скорой помощи, а когда их перестало хватать, к ним присоединились извозчики и даже обычные экипажи, развозившие убитых и раненых, которых доставали из-под развалин.

Боевой дух людей был высок, воодушевление росло день ото дня. Мы уже не полагались на везение и личную инициативу, как седьмого сентября. Теперь мы стали армией с командирами и вооружением; у нас была цель – самооборона, и успех или провал зависели только от нас. Нужно было лишь как следует поднапрячься.

Главнокомандующий призвал население рыть траншеи вокруг города, чтобы помешать продвижению немецких танков. Мы все вызвались добровольцами – по утрам дома оставалась только мать, чтобы присмотреть за квартирой и приготовить нам обед.

Мы копали вдоль холма где-то на окраине пригорода. Позади нас стоял привлекательный жилой квартал, состоящий из особняков, впереди зеленело множество деревьев муниципального парка. Работа была бы весьма приятной, если бы не нацеленные на нас бомбы. Они были не слишком точны и падали на некотором расстоянии, но тревожно было слышать их свист, роясь в траншее, и знать, что какая-то из них может ударить и в нас.

В первый день рядом со мной рыл землю старый еврей в кафтане и ермолке. Он копал с библейским рвением, набрасываясь на лопату, словно она была его заклятым врагом, с пеной у рта, с ручьями пота по бледному лицу, дрожа всем телом, напрягая мускулы. Он скрежетал зубами при работе, напоминая при этом чёрный вихрь, состоящий из кафтана и бороды. Этот упорный труд, далеко превосходящий его возможности, давал исчезающе малые результаты. Штык его лопаты едва входил в затвердевшую землю, и сухие жёлтые глыбы, которые ему удавалось поддеть, соскальзывали обратно, прежде чем бедняга нечеловеческим усилием мог бы перевернуть лопату и выбросить землю из траншеи. То и дело он откидывался на земляной откос в приступе кашля. Бледный как смерть, он потягивал мятный напиток, который приготовили для работников пожилые женщины, – они были слишком стары, чтобы копать, но хотели хоть чем-то быть полезны.

– Вы переутомляетесь, – сказал я ему в один из таких перерывов. – Вам лучше не копать, раз у вас не хватает сил.

Из жалости я попытался убедить его сдаться. Он явно был не годен к работе.

– Послушайте, – продолжал я, – в конце концов, никто от вас этого не требует.

Всё ещё тяжело дыша, он покосился на меня, затем возвёл глаза к небу, к безмятежной сапфировой синеве, где ещё парили облачка разрывов шрапнели, – и в его глазах отразился экстаз, словно он узрел в небесах Яхве во всем величии.

– У меня лавка! – прошептал он.

Он вздохнул ещё глубже и громко всхлипнул. С отчаянным выражением лица он вновь схватился за лопату, вне себя от перенапряжения.

Я перестал копать через два дня, так как услышал, что радиостанция возобновила вещание с новым директором, Эдмундом Рудницким, который ранее возглавлял музыкальный отдел. Он не бежал, как остальные, а собрал рассеявшихся коллег и открыл проект. Я пришёл к выводу, что там я буду полезнее, чем с лопатой в руках, и был прав: играл я много – и соло, и в качестве аккомпаниатора.

Тем временем условия в городе начали ухудшаться, словно бы в обратной пропорции к растущей отваге и решимости его жителей.

Немецкая артиллерия снова принялась обстреливать Варшаву – сначала пригороды, затем и центр. Всё больше зданий оставались без окон, на стенах зияли круглые дыры в местах попаданий, лепнина на углах была отбита. Ночью небо озарялось багровым отсветом пожаров, в воздухе пахло горелым. Запасы продовольствия таяли. Здесь героический мэр Стажинский оказался неправ: не стоило советовать людям не запасать провизию. Теперь город должен был кормить не только себя, но и солдат, оказавшихся здесь в западне, а также Познанскую армию с запада, пришедшую в Варшаву укреплять оборону.

В районе 20 сентября вся наша семья переехала с улицы Слиской в квартиру друзей, расположенную на первом этаже дома по улице Панской. Мы не любили бомбоубежища. Затхлым воздухом в подвале было почти невозможно дышать, а низкий потолок, казалось, в любой момент был готов обрушиться и похоронить всех под развалинами многоэтажного здания сверху. Но выживать в нашей квартире на третьем этаже было тяжело. Мы всё так же слышали свист снарядов за окнами, лишившимися всех стёкол, и один из этих снарядов легко мог залететь в наш дом. Мы решили, что на первом этаже будет лучше: снаряды будут попадать в верхние этажи и взрываться там, а нам не придётся спускаться в подвал. В квартире наших друзей уже обитало довольно много народа. Было тесно, и нам пришлось спать на полу.

Тем временем осада Варшавы, первая глава трагической истории города, подходила к концу.

Мне становилось всё труднее добираться на студию радиовещания. На улицах лежали трупы людей и лошадей, убитых шрапнелью, целые районы пылали, но теперь, когда артиллерия и бомбы повредили городской водопровод, потушить пожары было невозможно. Играть на студии тоже было опасно. Немецкая артиллерия обстреливала все важнейшие объекты города, и стоило ведущему начать объявлять программу, как немецкие батареи открывали огонь по студии.

В предпоследней стадии осады истерический страх саботажа среди населения достиг апогея. Любого могли обвинить в шпионаже и пристрелить, не дав времени объясниться.

На четвёртом этаже дома, куда мы переехали к друзьям, жила одна старая дева преклонных лет, учительница музыки. На её беду, она носила фамилию Хоффер и была отважна. Её отвагу можно было бы с равным успехом назвать нелепостью. Никакие налёты или обстрелы не могли заставить её спуститься в убежище вместо ежедневных двухчасовых упражнений на фортепиано перед обедом. На балконе она держала в клетке нескольких птиц и кормила их трижды в день с той же непоколебимой регулярностью.

Такой образ жизни был откровенно странен для осаждённой Варшавы. Горничным он казался крайне подозрительным. Они встретились в дворницкой для политической дискуссии и после долгих пересудов пришли к решительному заключению, что учительница со столь очевидно немецкой фамилией, конечно же, сама немка, а её игра на фортепиано – тайный код, которым она подавала сигналы пилотам Люфтваффе, куда сбрасывать бомбы. Не теряя времени, возбуждённые женщины вломились в квартиру эксцентричной старушки, связали её, уволокли вниз и заперли в одном из погребов вместе с птицами – свидетелями её саботажа.

Сами того не желая, они спасли ей жизнь: через несколько часов снаряд ударил в её квартиру, не оставив камня на камне.

Последний раз я играл перед микрофоном 23 сентября. Сам не понимаю, как добрался в тот день до студии. Я бежал от подъезда к подъезду, прятался и снова выбегал на улицу, когда мне казалось, что поблизости больше не слышно пролетающих снарядов. У входа на студию радиовещания я встретил мэра Стажинского. Он был нечёсан и небрит, а его лицо выражало смертельную усталость. Он не спал уже несколько дней, будучи сердцем и душой обороны, подлинным героем города. Весь груз ответственности за судьбу Варшавы лёг на его плечи. Он был везде: проверял траншеи, руководил строительством баррикад, организацией госпиталей, справедливой раздачей скудной провизии, противовоздушной обороной, пожарной охраной, – и ещё как-то находил время ежедневно обращаться к населению с речью. Все с нетерпением ждали его выступлений, потому что находили в них повод для стойкости: нет причин терять мужество, раз мэр непоколебим. В любом случае, положение выглядело не самым плохим. Французы прорвали «Линию Зигфрида», британская авиация беспощадно бомбила Гамбург, а британская армия могла высадиться в Германии в любой момент. Так, во всяком случае, нам казалось.

В тот последний день на радио я играл концерт Шопена. Это был последний музыкальный прямой эфир из Варшавы. Всё время, пока я играл, неподалёку от студии радиовещания рвались снаряды, совсем рядом с нами горели дома. Я едва слышал собственное фортепиано сквозь грохот. После концерта мне пришлось ждать два часа, пока бомбёжка не утихла настолько, чтобы я мог добраться домой. Родители, брат и сёстры уже думали, что я, конечно, убит, и встретили меня словно воскресшего из мёртвых. Единственным человеком, кто полагал, что незачем тревожиться, была наша горничная. «В конце концов, все бумаги у него в кармане, – заметила она. – Если бы его убили, там бы разобрались, куда его везти».

В тот же день, в три часа пятнадцать минут пополудни, Варшавское радио прекратило вещание. В эфире передавали запись концерта Рахманинова для фортепиано до-минор, и в тот самый момент, когда вторая часть, прекрасная, умиротворяющая, подходила к концу, бомба попала в электростанцию. Громкоговорители по всему городу смолкли. К вечеру, несмотря на разгоревшийся с новой силой яростный обстрел, я попытался заняться сочинением концертино для фортепиано с оркестром. Я работал над ним весь сентябрь, хотя это становилось всё труднее.

Когда стемнело, я выглянул в окно. Улица в красных отсветах пожаров была пуста, слышались только отголоски взрывов. Слева горела Маршалковская улица, позади нас – Кролевская улица и площадь Гжибовского, впереди – Сенная улица. Над домами нависли тяжёлые клубы кроваво-красного дыма. Мостовые и тротуары были усеяны белыми немецкими листовками; их никто не подбирал – говорили, что они отравлены. Под фонарём на перекрёстке лежало два мёртвых тела – один убитый раскинул руки, другой свернулся клубком, словно спящий. Перед входом в наш дом лежал труп женщины, которой оторвало голову и руку. Рядом с ней валялось перевёрнутое ведро – она ходила за водой к колодцу. Её кровь текла по водостоку длинной тёмной струей и уходила в закрытый решёткой слив.

Повозка, запряжённая лошадью, не без труда продвигалась от Великой к Железной улице. Трудно было понять, как она добралась сюда и почему лошадь и возница спокойны, словно бы вокруг них ничего не происходило. Повозка остановилась на углу Сосновой улицы, как будто возница задавался вопросом, свернуть туда или ехать прямо. После короткого раздумья он решил направиться прямо; он щёлкнул языком, и лошадь затрусила дальше. Примерно через десять шагов от угла раздался свистящий звук, затем рёв, и улица на мгновение озарилась белым светом, словно при съёмке со вспышкой. Я был ослеплён. Когда мои глаза снова привыкли к полумраку, повозки уже не было. У стен домов лежали обломки досок, остатки

колёс и оглобель, клочки обивки и разорванные в клочья тела возницы и лошади. Если бы только он свернул на Сосновую…

Настали ужасные дни 25 и 26 сентября. Гул взрывов сливался с непрерывным грохотом пушек, в который вторгался вой пикирующих самолётов, – словно электродрель вонзалась в железный лист. Воздух был наполнен дымом и пылью от рушащихся кирпичных стен и лепнины. Она проникала везде, удушая людей, запершихся в погребах или квартирах, как можно дальше от улицы.

Не знаю, как я выжил в эти два дня. Осколок шрапнели убил человека, сидевшего рядом со мной в спальне друзей. Две ночи и день я провёл, стоя с ещё десятью людьми в крошечной ванной. Через несколько недель, когда мы задались вопросом, как это было возможно, и попытались снова втиснуться туда, оказалось, что там могло поместиться только восемь человек, – если только не в страхе за свою жизнь.

Варшава капитулировала в среду 27 сентября.

Лишь через два дня я рискнул выйти в город. Вернулся я в глубокой печали: города больше не существовало – по крайней мере, так я думал по неопытности.

Новый Свят стал узким проходом, вьющимся среди груд щебня. На каждом углу мне приходилось обходить баррикады из перевёрнутых вагонеток и вывернутых из мостовой булыжников. На улицах были сложены разлагающиеся тела. Изголодавшиеся за время осады люди набрасывались на трупы лошадей, лежавшие повсюду. Развалины многих зданий ещё дымились.

Я шел по Иерусалимским аллеям, когда со стороны Вислы послышался рокот приближающегося мотоцикла. На нём сидели двое солдат в незнакомой зелёной форме и стальных касках. У них были широкие бесстрастные лица и бледно-голубые глаза. Они остановились у тротуара и окликнули застывшего в оцепенении мальчишку. Он подошёл.

– Маршалштрассе! Маршалштрассе!

Они снова и снова повторяли это слово – немецкое название Маршалковской улицы. Мальчик так и стоял в замешательстве, раскрыв рот и не в состоянии издать ни звука.

Солдаты потеряли терпение. «Да чёрт с ним!» – крикнул водитель, злобно взмахнув рукой. Он прибавил газу, и мотоцикл с рёвом скрылся.

Это были первые немцы, которых я увидел.

Через несколько дней на стенах Варшавы появились двуязычные прокламации, выпущенные немецким комендантом. Они обещали населению условия для мирного труда и заботу немецкого государства. В них был особый раздел, посвящённый евреям: им гарантировались все права, неприкосновенность собственности, а ещё – что их жизни будут в полной безопасности.

4. Отец кланяется немцам

Мы вернулись на улицу Слискую. Наша квартира не пострадала, хотя мы думали, что это невозможно, – не хватало нескольких окон, но это и всё. Двери были заперты, и даже самые мелкие предметы в квартире остались на местах. Остальные дома в округе тоже уцелели или понесли лишь незначительные повреждения. В последующие дни, когда мы стали выходить на улицу и выяснять, что стало с нашими знакомыми, оказалось, что, какой бы тяжёлый урон ни был нанесён городу, в основном он всё ещё стоял. Ущерб был не так велик, как могло показаться вначале, когда приходилось пробираться среди дымящихся руин.

Это относилось и к людям. Сначала говорили о ста тысячах погибших – число, которое составляло почти десятую долю населения города и приводило всех в ужас. Впоследствии мы узнали, что погибло около двадцати тысяч человек.

Среди них были наши друзья, которых мы видели живыми всего несколько дней назад, – а теперь они лежали под развалинами или были разорваны на куски снарядами. Двое коллег моей сестры Регины погибли, когда рухнул дом на Кошиковой улице. Проходя мимо этого здания, приходилось зажимать нос платком: тошнотворный запах восьми гниющих тел сочился из подвальных окон, из всех углов и щелей, отравляя воздух. Снарядом убило одного из моих коллег на Мазовецкой улице. Только когда нашли его голову, стало понятно, что разметанные в клочья останки принадлежат человеку, когда-то бывшему талантливым скрипачом.

Новости были ужасны, но они не могли нарушить животного удовольствия от того, что мы сами всё ещё живы, что те, кто избежал смерти, теперь вне опасности, хотя подсознание подавляло такие мысли из чувства стыда. В этом новом мире, где всё, что было непреходяще ценным месяц назад, рухнуло, простейшие вещи, те самые, которые раньше с трудом замечали, приобрели огромную значимость: удобное прочное кресло, умиротворяющий вид печи, выложенной белым кафелем, на которой отдыхал взгляд, поскрипывание досок пола – уютная прелюдия к атмосфере мира и покоя в доме.

Отец был первым, кто снова взялся за музыку. Он спасался от реальности, часами играя на скрипке. Когда кто-то прерывал его дурными вестями, он слушал и хмурился с раздражённым видом, но вскоре его лицо вновь просветлялось и он вскидывал скрипку к плечу и говорил: «Ладно, неважно. Союзники точно будут здесь через месяц». Этот ответ сразу на все вопросы и проблемы того времени был для него способом закрыть за собой дверь и вернуться в иной, музыкальный мир, где он был счастливее.

К несчастью, первые новости, пришедшие от тех, кто приобрёл аккумуляторы и снова заставил свои приёмники работать, не подтвердили отцовский оптимизм. Ничего из того, что он слышал, не соответствовало истине: французы не собирались пробиваться через «Линию Зигфрида», британцы точно так же не собирались бомбить Гамбург, не говоря уже о высадке на побережье Германии. Тем временем в Варшаве начинались первые немецкие расовые облавы. Сначала они проходили неуклюже, словно немцы сами стыдились этого нового способа мучить людей и практики у них не было. Маленькие частные автомобили колесили по улицам и неожиданно подъезжали к тротуару, обнаружив еврея, – тогда двери открывались, из салона высовывалась рука и согнутым пальцем показывала: «Садись!». Те, кто возвращался после таких облав, описывали первые инстанции издевательств. Пока всё было не слишком плохо; физическое насилие ограничивалось пощёчинами, ударами, иногда пинками. Но все это было внове, и жертвы переживали это особенно остро, воспринимая пощёчину от немца как нечто унизительное. Они ещё не осознали, что такой удар несёт в себе не больше морального смысла, чем толчок или удар копытом от животного.

В первое время злость на правительство и военное командование – те и другие бежали, предоставив страну самой себе, – была в целом сильнее ненависти к немцам. Мы с горечью

вспоминали слова фельдмаршала, который поклялся, что не отдаст врагу и пуговицы со своего мундира, – и не отдал, но только потому, что пуговицы остались на его мундире, в котором он бежал за границу. Не было недостатка в голосах, утверждавших, что мы ещё можем оказаться в выигрыше, поскольку немцы наведут некоторый порядок по сравнению с тем хаосом, которым была Польша.

Но теперь, когда немцы выиграли вооружённый конфликт против нас, они проигрывали в политической войне. Казнь первых ста невиновных граждан Варшавы в декабре 1939 года стала переломным моментом. В какие-то несколько часов между немцами и поляками выросла стена ненависти, и с тех пор ни одна из сторон не могла её преодолеть, хотя в последующие годы оккупации немцы и проявляли подобные намерения.

Были расклеены первые немецкие декреты, каравшие смертной казнью за неподчинение. Самые важные касались торговли хлебом: любой, кто будет пойман за покупкой или продажей хлеба по ценам выше довоенных, будет расстрелян. Этот запрет произвёл на нас гнетущее впечатление. Мы не ели хлеба много дней, питаясь вместо него картофелем и другими крахмалистыми блюдами. Но затем Генрик обнаружил, что хлеб ещё существует и продаётся и покупатель совсем не обязательно падает замертво на месте. Так мы начали снова покупать хлеб. Декрет так и не отменили, и поскольку все ежедневно ели и покупали хлеб на протяжении пяти лет оккупации, за одно это преступление в Генерал-губернаторстве, учреждённом на территории оккупированной Германией Польши, должны были вынести миллионы смертных приговоров. Всё же прошло много времени, прежде чем мы убедились, что немецкие декреты не имеют веса, а реальная опасность – та, что может обрушиться совершенно внезапно, из ничего, без правил и распоряжений, пусть даже фиктивных.

Вскоре были опубликованы декреты, касающиеся исключительно евреев. Еврейская семья могла хранить дома не более двух тысяч злотых. Прочие сбережения и ценные вещи надлежало сдать на хранение в банк на заблокированный счёт. В то же время еврейское недвижимое имущество следовало передать немцам. Естественно, вряд ли хоть кто-то был настолько наивен, чтобы по доброй воле отдать собственность врагу. Как и все остальные, мы решили спрятать все ценности, хотя они и состояли лишь из отцовских золотых часов на цепочке и пяти тысяч злотых.

Мы яростно спорили, как лучше всё это спрятать. Отец предложил несколько испытанных и проверенных методов с прошлой войны, например, просверлить дыру в ножке обеденного стола и спрятать всё ценное там.

– А если они заберут стол? – саркастически поинтересовался Генрик.

– Придурок, – раздражённо бросил отец. – С чего бы им понадобился стол? Тем более такой?

Он презрительно покосился на стол. Отполированная до блеска ореховая поверхность была вся в пятнах от разлитых жидкостей, в одном месте шпон немного отходил. Чтобы лишить этот предмет мебели последних следов ценности, отец подошёл к нему и поддел пальцем отошедший край шпона – тот отскочил, обнажив простое дерево.

– Что ты такое творишь? – упрекнула его мать.

Генрик предложил другой вариант. По его мнению, нам следовало прибегнуть к психологическому методу и оставить часы и деньги на виду. Немцы обыщут все укромные уголки и ни за что не заметят ценные вещи на столе.

Мы пришли к компромиссу: часы спрятали под буфет, цепочку – под грифовую накладку отцовской скрипки, а деньги затолкали в оконную раму.

Хотя все были встревожены суровостью немецких законов, люди не теряли мужества, утешаясь мыслью, что немцы могут в любой момент передать Варшаву Советской России и оккупированные только для виду территории будут в кратчайшие сроки возвращены Польше. В излучине Вислы всё ещё не была проведена граница, и люди приходили в город с обоих

берегов реки, божась, что собственными глазами видели войска Красной армии в Яблонне или Гарволине. Но за ними сразу же приходили другие, и они говорили, что точно так же собственными глазами видели, как русские отступали из Вильны и Львова и оставляли эти города немцам. Трудно было решить, кому из свидетелей верить.

Многие евреи не стали ждать, пока русские войдут в город, а продали своё имущество в Варшаве и двинулись на восток, в том единственном направлении, куда они ещё могли уйти от немцев. Почти все мои коллеги-музыканты уехали и звали меня с собой. Но моя семья всё же решила остаться на месте.

Один из уехавших коллег вернулся через два дня, побитый и злой, без рюкзака и без денег. Он видел, как у границы пятерых евреев подвесили за руки к деревьям и избивали плетьми. И ещё он видел смерть доктора Хаскелевича, сказавшего немцам, что хочет пересечь Вислу. Под дулом пистолета они приказали ему зайти в реку, заставляя шагать всё дальше, пока он не потерял опору и не утонул. Мой коллега всего лишь остался без вещей и денег, был избит и отправлен назад. Но большинство евреев, хотя и подверглись грабежу и издевательствам, всё же добрались до России.

Конечно, нам было жаль беднягу, но в то же время мы ощущали некое торжество: лучше бы он послушался нашего совета и остался. Мы решили остаться из любви к Варшаве, хотя и не могли дать этому никакого логического объяснения.

Когда я говорю «мы решили», я имею в виду всех своих родных, кроме отца. Он не уехал из Варшавы скорее потому, что не хотел слишком удаляться от Сосновца, откуда он был родом. Он никогда не любил Варшаву, и чем хуже нам там приходилось, тем больше он тосковал по Сосновцу и идеализировал его. Сосновец был единственным местом, где хорошо живётся, где люди расположены к музыке и могут оценить хорошего скрипача. Более того, Сосновец был единственным местом, где можно найти стаканчик достойного пива, потому что в Варшаве можно купить лишь отвратительные, непригодные для питья помои. После ужина отец складывал руки на животе, откидывался на спинку стула, мечтательно прикрывал глаза и принимался изводить нас монотонным изложением своих видений того Сосновца, который существовал лишь в его любящем воображении.

В последние недели осени, меньше чем через два месяца после того, как немцы взяли Варшаву, город совершенно неожиданно вернулся к прежнему образу жизни. Такой переворот в материальных обстоятельствах, совершившийся настолько легко, стал ещё одним сюрпризом для нас в этой удивительнейшей из войн, где всё шло не так, как мы ожидали. Огромный город, столица страны с многомиллионным населением, был частично разрушен, целая армия гражданских служащих осталась без работы, а из Силезии, Познанской области и Померании продолжали поступать толпы беженцев. Но внезапно все эти люди – без крыши над головой, без работы, с самыми мрачными перспективами – осознали, что обходя немецкие декреты можно легко сделать большие деньги. Чем больше издавалось декретов, тем выше были шансы на заработок.

Две жизни шли бок о бок: официальная, имитационная жизнь по правилам, заставлявшим людей работать от рассвета до заката почти без еды, и вторая, неофициальная, полная сказочных возможностей извлечь прибыль, где процветала торговля долларами, бриллиантами, мукой, кожей или даже поддельными бумагами, – жизнь под постоянной угрозой смертной казни, зато весело проходящая в роскошных ресторанах, куда клиентов отвозили «рикши».

Конечно, не все могли позволить себе такую жизнь. Каждый день, возвращаясь вечером домой, я видел женщину, которая сидела в одной и той же нише в стене на Сенной улице, играла на гармонике-концертине и пела печальные русские песни. Она никогда не выходила просить милостыню до сумерек – вероятно, боялась, что её узнают. На ней был элегантный серый костюм, по всей видимости, последний, который у неё остался, и его вид говорил, что его хозяйка знавала лучшие времена. В сумерках её красивое лицо выглядело безжизненным,

глаза смотрели в одну точку – куда-то высоко над головами прохожих. У неё был глубокий привлекательный голос, и она хорошо аккомпанировала себе на концертине. Вся её осанка, даже её манера прислоняться к стене говорили о том, что это дама из высшего общества, которую вынудила так жить лишь война. Но даже так она неплохо зарабатывала. В увешанном лентами тамбурине, который она, несомненно, полагала символом попрошайничества, всегда лежало множество монет. Тамбурин лежал у её ног, так что никто не усомнился бы, что она просит милостыню, и вместе с монетами там лежало несколько купюр в пятьдесят злотых.

Сам я никогда не выходил до наступления темноты, если только мог, но совершенно по другим причинам. Среди множества докучливых правил, предписанных евреям, было одно, пусть и неписаное, но требовавшее очень тщательного соблюдения: мужчины еврейского происхождения должны были кланяться каждому немецкому солдату. Это идиотское и унизительное требование доводило нас с Генриком до белого каления. Мы делали всё возможное, чтобы обойти его. Мы выбирали длинные обходные пути, только чтобы не встретить какого-нибудь немца, а если это было неизбежно, мы смотрели в сторону и делали вид, что не заметили его, хотя это могло кончиться для нас побоями.

Отец занял совсем иную позицию. Он выбирал для прогулок самые длинные улицы и кланялся немцам с неописуемым пародийным изяществом, радуясь, когда кто-нибудь из солдат, введённый в заблуждение его сияющим лицом, отвечал ему гражданским приветствием и улыбался, словно они были добрыми друзьями. Возвращаясь вечером домой, он не мог удержаться, чтобы невзначай не прокомментировать свой растущий круг знакомств: дескать, стоит ему только шагнуть за порог, его обступают десятками. Он просто не в силах устоять перед их дружелюбием, и у него даже затекает рука, так часто он снимает шляпу в знак любезности. На этих словах он лукаво улыбался и довольно потирал руки.

Но к коварству немцев не стоило относиться легкомысленно. Это была часть системы, призванной держать нас в постоянном тревожном страхе перед будущим. Каждые несколько дней выходили новые декреты. На первый взгляд они ничего не значили, но давали нам понять, что немцы про нас не забыли и забывать не собираются.

В то время евреям запретили передвигаться на поезде. Потом нам пришлось платить за трамвайный билет вчетверо больше, чем «арийцам». Поползли первые слухи о строительстве гетто. За пару дней они стали обыденными, посеяли в наших сердцах отчаяние и вновь смолкли.

5. Вы евреи?

В конце ноября, когда ясные дни необычно затянувшейся осени стали реже, а на город всё чаще проливались холодные дожди, мы с Генриком и отцом впервые встретились со «смертью на немецкий манер».

Как-то вечером мы втроём были в гостях у друга и болтали. Взглянув на часы, я с тревогой обнаружил, что до комендантского часа осталось всего ничего. Нужно было немедленно уходить, хотя добраться домой вовремя мы никак не успевали. Но опоздать на четверть часа было не таким уж большим преступлением, так что мы рассчитывали выкрутиться.

Мы схватили пальто, торопливо попрощались и ушли. Улицы были тёмными и почти полностью безлюдными. Дождь хлестал в лицо, порывы ветра раскачивали указатели, воздух был наполнен грохотом металла. Подняв воротники пальто, мы старались идти как можно быстрее и тише, держась ближе к стенам домов. Мы уже прошли до половины улицы Зельной, и всё вроде бы говорило о том, что мы благополучно доберёмся до места назначения, как вдруг из-за угла возник полицейский патруль. Отступить или спрятаться мы не успели. Мы так и стояли в ослепительном свете их фонарей, пытаясь придумать какое-нибудь оправдание, пока один из полицейских не шагнул прямо к нам, направив свет фонаря нам в лицо.

– Вы евреи? – вопрос был риторическим, так как ждать ответа он не стал. – Ну что ж, тогда…

В констатации нашей расовой принадлежности звучало торжество. Это было удовольствие от удачно сыгранной партии. Прежде, чем мы это осознали, нас схватили и повернули лицом к стене дома, а полицейские отступили на проезжую часть и принялись снимать с предохранителей свои карабины. Так вот как нам предстоит умереть. Всё случится в ближайшие несколько секунд, а потом мы до утра будем лежать на тротуаре в крови, с раздробленными черепами. Только тогда мать и сестры узнают, что случилось, в отчаянии пойдут разыскивать нас и найдут. Друзья, к которым мы ходили в гости, будут корить себя за то, что задержали нас слишком долго. Все эти мысли промелькнули у меня в голове как-то странно, словно их думал кто-то другой. Я услышал, как кто-то произнёс вслух: «Это конец». Только через секунду я осознал, что говорил я сам. В то же время я услышал громкий всхлип и судорожные рыдания. Я повернул голову и в резком свете фонаря увидел отца, опустившегося на колени на мокрый асфальт и с рыданиями молящего полицейского пощадить нас. Как он мог так унижаться? Генрик склонился над отцом и что-то шептал ему, пытаясь поднять на ноги. Генрик, мой сдержанный брат Генрик с вечной саркастической улыбкой, сейчас излучал какую-то необыкновенную ласку и нежность. Раньше я никогда не видел его таким. Значит, существует и другой Генрик, которого я мог бы понять, если бы только познакомился с ним поближе вместо вечных споров.

Я снова повернулся к стене. Ничего не изменилось. Отец рыдал, Генрик пытался его успокоить, полиция так же держала нас на прицеле. Мы не видели их за стеной белого света. Но вдруг, в долю секунды, я инстинктивно почувствовал, что смерть нам уже не угрожает. Прошло несколько мгновений, и из-за световой завесы послышался громкий голос:

– Чем вы занимаетесь?

Генрик ответил за нас троих. С удивительным самообладанием, спокойно, словно ничего не произошло, он сказал:

– Мы музыканты.

Один из полицейских подошёл вплотную ко мне, взял за ворот пальто и встряхнул – в последней вспышке гнева, ведь теперь, когда он решил оставить нас в живых, для этого не было причин.

– Ваше счастье – я тоже музыкант!

Он оттолкнул меня, и я шагнул назад к стене, чтобы не упасть.

– Пошли вон!

Мы бросились в темноту, стремясь как можно скорее выбраться из-под света их фонарей, пока они не передумали. Позади мы слышали их затихающие голоса, которые яростно спорили. Остальные двое набросились на того, который отпустил нас. Они полагали, что мы не заслуживаем сострадания, поскольку начали войну, в которой умирают немцы.

Но пока что немцы не умирали, а обогащались. Немецкие банды всё чаще врывались в еврейские дома, грабили их и увозили мебель в фургонах. В смятении хозяева продавали лучшие вещи и заменяли их ничего не стоящим барахлом, которое не могло никого соблазнить. Мы тоже продали мебель, хотя больше из нужды, чем из страха, – мы становились всё беднее. Никто в семье не был силён в торговле. Регина попыталась торговать, но потерпела неудачу. Как юрист она обладала сильным чувством справедливости и ответственности, а потому просто не могла запросить или принять сумму вдвое больше стоимости вещи. Очень скоро она переключилась на преподавательскую работу. Отец, мать и Галина давали уроки музыки, Генрик преподавал английский. Я был единственным, кто не мог тогда найти способ заработать себе на хлеб. Я погрузился в апатию и только время от времени работал над аранжировкой моего концертино.

Во второй половине ноября немцы без объяснения причин начали перегораживать колючей проволокой соседние улицы к северу от Маршалковской, а в конце месяца случилось объявление, которому вначале никто не мог поверить. Даже в самых тайных мыслях мы не могли заподозрить, что случится такое: с первого по пятое декабря евреям следовало обзавестись белыми нарукавными повязками с нашитой на них голубой звездой Давида. Таким образом, нам предстояло публично носить метку изгоев. Несколько веков гуманистического прогресса были вычеркнуты, мы вернулись в Средневековье.

Недели напролёт еврейская интеллигенция сидела под добровольным домашним арестом. Никто не хотел показываться на улице с позорным клеймом на рукаве, а если оставаться дома было попросту невозможно, мы старались проскользнуть незамеченными, глядя в землю, полные стыда.

Зимнее ненастье без предупреждения установилось на несколько месяцев, и холод словно бы объединился с немцами в стремлении убивать людей. Морозы стояли неделями; температура опускалась ниже, чем кто-либо в Польше мог припомнить. Уголь было почти невозможно раздобыть, и он стоил фантастических денег. Помню целый ряд дней, когда нам приходилось оставаться в постели, потому что в квартире было слишком холодно, чтобы это можно было вынести.

В худшую пору той зимы в Варшаву прибыло множество депортированных евреев, вывезенных с запада. Точнее, прибыла только их небольшая часть: на месте отправления их погрузили в вагоны для скота, вагоны опечатали, и людей отправили в путь без еды, без воды и без всяких способов согреться. Зачастую эти страшные поезда добирались до Варшавы по несколько дней, и лишь тогда людей выпускали из вагонов. В некоторых составах оставалась в живых от силы половина пассажиров, и те были серьёзно обморожены. Остальные были трупами, которые закоченели в стоячем положении среди остальных и падали на пол только когда живые двигались с места.

Казалось, хуже быть уже не может. Но так считали только евреи – немцы думали иначе. Верные системе постепенно нарастающего давления, в январе-феврале 1940 года они выпустили новые репрессивные декреты. Первый объявил, что евреи должны отработать два года в концентрационных лагерях, – там мы получим «надлежащее социальное воспитание», которое излечит нас от привычки быть «паразитами на здоровом организме арийских народов». Мужчины в возрасте от двенадцати до шестидесяти лет и женщины от четырнадцати до сорока пяти лет должны были уехать. Второй декрет устанавливал порядок нашей регистрации и отправки. Чтобы избавить себя от хлопот, немцы передали всю работу Еврейскому совету, контактиро-

вавшему с руководством общины. Нам предстояло совершить что-то вроде законодательно регулируемого самоубийства. Поезда должны были отправиться весной.

Совет решил действовать так, чтобы пощадить большую часть интеллигенции. За тысячу злотых с человека он посылал представителя еврейского рабочего класса как замену якобы зарегистрированного лица. Разумеется, не все деньги доставались самим несчастным, посланным на замену: чиновникам Совета тоже надо было на что-то жить, и жили они хорошо, с водкой и кое-какими деликатесами.

Но весной поезда не отправились. Снова стало ясно, что официальные немецкие декреты не следует принимать всерьёз, и на самом деле на несколько месяцев напряжение в немецко-еврейских отношениях даже ослабло. Эта передышка казалась всё более искренней по мере того, как обе стороны всё больше тревожились по поводу событий на фронте.

Наконец пришла весна, и теперь уже не было сомнений, что союзники, проведшие зиму в подобающих приготовлениях, нападут на Германию одновременно со стороны Франции, Бельгии и Голландии, прорвутся через «Линию Зигфрида», возьмут Саар, Баварию и северную Германию, захватят Берлин и освободят Варшаву не позднее этого лета. Весь город пребывал в радостном возбуждении. Мы ждали начала наступления, словно праздничной вечеринки. Тем временем немцы вторглись в Данию, но в представлении наших местных политиков это ничего не значило. Их армии окажутся попросту отрезаны.

Десятого мая наконец началось наступление – немецкое. Голландия и Бельгия пали. Немцы двинулись на Францию. Что ж, тем больше причин не терять мужество. Повторяется 1914 год. А почему бы и нет, с французской стороны даже командование осталось тем же: Петэн, Вейган – лучшие ученики Фоша. На них можно положиться – они смогут защититься от немцев не хуже, чем в прошлый раз.

И вот 20 мая ко мне после обеда зашёл мой коллега, скрипач. Мы собирались поиграть вместе и освежить в памяти одну сонату Бетховена, которую мы не исполняли уже некоторое время, и мы оба с огромным удовольствием предвкушали этот момент. Пришло ещё несколько моих друзей, а мать, решив побаловать меня чем-нибудь вкусным, раздобыла кофе. Был чудесный солнечный день, мы наслаждались кофе и восхитительными кексами, которые напекла мать; настроение у всех было прекрасное. Все мы знали, что немцы стоят под самым Парижем, но никто не чувствовал особой тревоги. В конце концов, там ведь Марна – та самая классическая линия обороны, где всё должно прийти к финальной точке, застыть, как на фермате во второй части скерцо си-минор Шопена, где шторм восьмых нот бушует всё яростнее и яростнее, но вот наступает финальный аккорд – и в этот момент немцы отступают к собственным границам так же стремительно, как продвигались вперёд, и будет конец войны и победа союзников.

После кофе мы приготовились выступать. Я сел за фортепиано, меня обступили внимательные слушатели – люди, способные разделить удовольствие, которое я намеревался подарить им и себе. Скрипач встал справа от меня, а слева сел обаятельный юноша из числа друзей Регины, который должен был переворачивать мне нотные страницы. О чем ещё просить, когда я и так был на вершине счастья? Мы ждали только Галину, чтобы начать, – она спустилась в магазин позвонить. Она вернулась с газетой в руках: экстренный выпуск. На первой странице огромными буквами, видимо, самыми большими, какие только нашлись в типографии, были напечатаны два слова: «ПАРИЖ ПАЛ!».

Я уронил голову на клавиатуру и – впервые за время войны – разрыдался.

Немцы, одурманенные победой, ненадолго остановились перевести дыхание, и теперь у них было время снова заняться нами, хотя и нельзя сказать, что на время сражений на западе о нас полностью забыли. Грабежи в жилищах евреев, их насильственная эвакуация, депортации на работу в Германию продолжались, но мы к этому привыкли. Теперь следовало ожидать худшего. В сентябре отправились первые составы в трудовые лагеря Белжец и Хрубешув. Евреи,

получающие там «надлежащее социальное воспитание», целыми днями стояли по пояс в воде, прокладывая улучшенные дренажные системы, и получали сто граммов хлеба и тарелку жидкого супа в день, чтобы не умереть с голоду. На самом деле это была работа не на два года, как сообщалось ранее, а лишь на три месяца. Но и этого хватило, чтобы люди вымотались физически, а многие заболели туберкулёзом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.